

ЭЛИЗАБЕТ ГАСКЕЛЛ

УЧИТЕЛЬ
ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА

Элизабет Гаскелл

Учитель французского языка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25275420

Аннотация

«Дом отца моего находился в провинции, в семи милях от ближайшего города. Отец мой служил во флоте, но повстречавшийся с ним несчастный случай лишил его возможности продолжать морскую службу и принудил не только уступить свое место другому, но и отказаться от всяких надежд на половинную пенсию. Он имел небольшое состояние, да и к тому же и мои мать вышла за него не без приданого: при этих средствах, купив дом и десять или двенадцать акров земли, он сделался фермером-аматером и занялся сельским хозяйством в небольших размерах...»

Элизабет Гаскелл

Учитель

французского языка

Дом отца моего находился в провинции, в семи милях от ближайшего города. Отец мой служил во флоте, но повстречавшийся с ним несчастный случай лишил его возможности продолжать морскую службу и принудил не только уступить свое место другому, но и отказаться от всяких надежд на половинную пенсию. Он имел небольшое состояние, да и к тому же и мои мать вышла за него не без приданого: при этих средствах, купив дом и десять или двенадцать акров земли, он сделался фермером-аматером и занялся сельским хозяйством в небольших размерах. Моя мать радовалась, что операции его не имели большего размера, и когда отец мой выражал сожаление (что делалось весьма нередко) о том, что нет никакой возможности прикупить в соседстве еще немножко земельки, я всегда замечала, что при этих словах в голове матери производились выкладки и расчисления следующего рода: «если двенадцать акров, которыми он управляет, приносят убытку сто фунтов стерлингов в год, то как велик был бы убыток, если б он владел полутора ста акрами?» А когда необходимость заставляла моего отца представлять отчет в деньгах, истраченных на содержание фер-

мы, устроенной по понятиям истого моряка, он постоянно приводил такое оправдание:

– Надо только вспомнить о здоровье и удовольствии, которое доставляет нам разработка окрестных полей! Ведь надобно же чем-нибудь заниматься и смотреть за чем-нибудь!

В этих словах заключалось столько истины, что каждый раз, когда отец приводил их в свое оправдание, моя мать не решалась возражать ему ни словом. Перед чужими же он всегда доказывал возможность распространить свое хозяйство доходами, которые оно приносило. Он часто увлекался подобными доказательствами, пока не встречал предостерегающего взгляда моей матери, ясно говорившего, что она еще не до такой степени углубилась в предмет собственного своего разговора, чтоб не слышать его слов. Впрочем, что касается до счастья, истекавшего из образа нашей жизни, о! его невозможно измерить и оценить ни десятками, ни сотнями фунтов стерлингов. Детей у наших родителей было только двое: я, да моя сестра. Большую часть нашего воспитания матушка приняла на себя. При начале каждого утра мы помогали ей в хозяйственных хлопотах, после того принимались за ученье, по старинной методе, с которой наша матушка коротко ознакомилась, будучи девочкой: мы садились за «Историю Англии» Гольдсмита, за «Древнюю Историю» Роллена, за «Грамматику» Муррея, и, в заключение за шитье и вышиванье.

Нередко случалось, что матушка, тяжело вздыхая, выра-

жала желание иметь возможность купить нам фортепьяно и выучить нас разыгрывать все те пьесы, которые она сама играла; но прихоти нашего доброго отца были разорительны, по крайней мере, для человека, обладавшего такими средствами, как он. Кроме безвредных, спокойных земледельческих наклонностей, в нем была наклонность к общежитию: никогда не отказываясь от обедов своих более богатых соседей, он находил особенное удовольствие отвечать на эти обеды – обедами, и задавать небольшие пирушки, которые повторялись бы довольно часто, если б благоразумие матери не сокращало их. А между тем, мы все-таки не имели возможности купить фортепьяно: покупка эта требовала вдруг такой наличной суммы денег, какую мы никогда не обладали. Можно смело сказать, что мы бы достигли зрелого возраста, не выучив ни одного языка, кроме своего отечественного, если б не помогли нам в этом отношении привычки отца обращаться в обществе, – эти привычки доставили нам случай выучиться по-французски самым неожиданным образом. Отец мой и мать отправились однажды обедать к генералу Ашбуртону, и там встретились с эмигрантом, джентльменом мосьё де-Шалабр, который бежал из отечества, подвергая жизнь свою страшным опасностям; – поэтому, он считался в нашем небольшом кругу и лесистой местности замечательнейшим львом, подававшим повод к многим званым обедам. Генерал Ашбуртон знал его во Франции совершенно в других обстоятельствах, так что мосьё де-Шалабр, прого-

стив в наших лесах около двух недель, был крайне изумлен спокойным и не лишенным достоинства вызовом Ашбурто-на отрекомендовать его учителем французского языка, если только он в состоянии исполнить эту обязанность добросовестно.

На все доводы генерала, мосьё де-Шалабр отвечал, улыбаясь, в полном убеждении, что предлагаемая обязанность, если б он и вздумал принять ее, продолжилась бы весьма недолго, и что правое дело – должно восторжествовать. Это было перед роковым 21 января 1793 года. Продолжая улыбаться, он подкреплял свое убеждение бесчисленным множеством примеров из классиков, из биографий героев, патриархов и полководцев, которые, по прихоти Фортуны, принуждены были принимать обязанности далеко ниже своего звания. В заключение, он принял предложение генерала, и выразив признательность за его участие в положении эмигранта и за его великодушие, объявил, что уже нанял квартиру на несколько месяцев в небольшой ферме, находившейся в центре круга наших знакомых. Генерал был вполне джентльмен, чтоб высказать более того, что требовало приличие: он сказал, что всегда считал за особенную честь сделать что-нибудь полезное для содействия планам мосьё де-Шалабра; – а так как мой отец был первым лицом, с которым генерал встретился после этого разговора, то в тот же вечер нам объявлено было, что мы должны учиться по-французски, и я вполне уверена, что если б мой отец успел склонить

матушку на свою сторону, то наш французский класс образовался бы из отца, матери и двух дочерей; до такой степени отец наш тронут был рассказом генерала о желаниях мосьё де-Шалабра, желаниях весьма ограниченных, сравнительно с высотой того положения в обществе, с которого он был низвергнут. Вследствие этого, мы были возведены в достоинство его первых учениц. Отец мой хотел, чтоб мы имели уроки через день, по-видимому, с тою целью, чтоб успехи были быстрее, но в сущности, чтоб плата за уроки составляла более значительную сумму. Мама спокойно вмешалась в это дело, и уговорила мужа ограничиться двумя уроками в неделю, чего, по её словам, было весьма достаточно и для успехов и для денежных средств. Счастливые уроки! Я помню их даже теперь, не смотря на пятидесятилетний промежуток времени. Наш дом находился на окраине леса, часть которого была очищена для наших полей. Земля была весьма неудобна для посева; но отец мой всегда засевал то или другое поле клевером, собственно потому, что мама, во время вечерних прогулок, любила благоухание цветистых полей, и потому еще, что чрез эти поля пролегали тропинки в окрестные леса.

За четверть мили от нашего дома, – по тропинке, проложенной по гладкому дерну и под длинными, низко опускавшимися ветвями буковых деревьев, – находилась старинная, нештукатуреная ферма, где квартировал мосьё де-Шалабр. Мы нередко навещали его; не для того, впрочем, чтоб брать

уроки, – это, при его утонченных понятиях о вежливости, было бы для него оскорблением; – но так как мой отец и мать были ближайшими его соседями, то между нашим домом и старой фермой поддерживались постоянные сношения и переписка, которую мы, маленькие девочки, считали за счастье передавать нашему милому мосьё де-Шалабру. Кроме того, когда уроки наши у мама оканчивались довольно рано, она обыкновенно говорила нам: – «Вы были умницами; за это вы можете прогуляться к дальнему краю клеверного поля и посмотреть, не идет ли мосьё де-Шалабр. Если он идет, то можете воротиться с ним вместе, только не забудьте уступать ему самую чистую часть тропинки: – ведь вы знаете, как он боится запачкать свои сапоги.»

Все это было прекрасно в теории; но, подобно многим теориям, трудность состояла в применении её к практике. Если мы отступали к стороне тропинки, где стояла широкая лужа, мосьё де-Шалабр кланялся и становился позади нас, в более мокрое место, предоставляя нам сухую и лучшую часть дороги; не смотря на то, когда мы приходили домой, его лакированные сапоги не имели на себе ни малейшего пятнышка, тогда как наши башмаки покрыты были грязью.

Другую маленькою церемонию, к которой мы постепенно привыкли, была его привычка снимать шляпу при нашем приближении, и идти рядом с нами, держа ее в руке. Разумеется, он носил парик тщательно завитый, напудренный и завязанный сзади в косичку. При этих встречах, нам всегда

казалось, что он непременно простудится, что он оказывал нам слишком много чести, что он не знал, как мы были еще молоды; — и потому вам становилось очень совестно. Но не на долго. Однажды мы увидели, как он, недалеко от нашего дома, помогал крестьянке перебраться через забор, с той же самой изысканной вежливостью, которую постоянно оказывал нам. Сначала он перенес через забор корзинку с яйцами, и потом, приподняв полу кафтана, подбитую шелковой материей, разослал ее на ладонь своей руки, с тою целью, чтоб крестьянка могла положить на нее свои мальцы; вместо-того, она зажала его небольшую и белую руку в свою пухлую и здоровую, и налегла на него всею своей тяжестью. Он нес корзинку, пока дорога крестьянки лежала по одному направлению с его дорогой. С этого времени, мы уже не так застенчиво стали принимать его любезности: мы заметили, что он считал их за должную дань нашему полу, без различия возраста и состояния. Таким образом, как я уже сказала, мы величаво проходили по клеверному полю, и чрез калитку входили в наш сад, который был также благоуханен, как и самое поле, в его самую лучшую пору. Здесь, бывало, встречала нас мама. Здесь мы проводили большую часть нашей юношеской жизни. Наши французские уроки чаще читались в саду, нежели в комнате; на лужайке, почти у самого окна гостиной, находилась беседка, в которую мы без всякого затруднения переносили стол, стулья и все классные принадлежности, если только этому не препятствовала мама.

Мосьё де-Шалабр, во время уроков, надевал что-то в роде утреннего костюма, состоявшего из кафтана, камзола и панталон из грубого, серого сукна, которое он покупал в соседстве; его треугольная шляпа была тщательно приглажена; парик сидел на нем, как ни у кого, по крайней мере парик моего отца всегда бывал на боку. Единственной вещью, которой недоставало к довершению его наряда, был цветок. Я думаю, он не срывал с розовых кустов, окружавших ферму, в которой он жил, ни одного цветка, с тою целью, чтоб доставить нашей мама удовольствие нарезать ему из гвоздик и роз прекрасный букет, или «пози», как он любил называть его: он усвоил это миленькое провинциальное словцо, особенно полюбил его и произносил, делая ударение на первом слоге с томною мягкостью итальянского акцента. Часто Мэри и я старались подделаться под его произношение; мы всегда с таким наслаждением слушали его разговор.

За классным столом, было ли это в стенах дома; или в саду, мы были обязаны прилежно заниматься нашими уроками: он, – мы сами не знаем каким образом, – дал нам понять, что в состав его рыцарских правил входило и то, которое делало его таким полезным юношескому возрасту, для того, чтоб научить вполне исполнять малейшие требования долга. Полуприготовленных уроков он не принимал. Терпение и примеры, которыми он пояснял и утверждал в нашей памяти каждое правило, – постоянная кротость и благодушие, с которыми он заставлял наши упорные, не гибкие ан-

глийские языки произносит, изменять, и снова произносить некоторые слова и, наконец, мягкость характера, никогда не менявшаяся, были таковы, что подобных им я никогда не видала. Если мы удивлялись этим качествам, будучи детьми, то удивление это приняло более обширные размеры, когда мы выросли и узнали, что, до своей эмиграции, он был человеком пылкого и необузданного характера, с недоконченным воспитанием, зависевшим от обстоятельств, что на шестнадцатом году он был подпоручиком в полку королевы и, следовательно, должен был, по необходимости, вполне изучить язык, которого впоследствии ему привелось быть учителем.

Сообразно с его печальными обстоятельствами, мы имели два раза в году каникулы. Обыкновенные же каникулы не были для нас, как это всюду принято, о святках, в середине лета, о пасхе или в Михайлов день. В те дни, когда наша мама была особенно занята по хозяйству, у нас были праздники; хотя, в сущности, в подобные дни мы трудились более, чем над уроками: мы приносили что-нибудь, относили, бежали на посылках, становились румяными, покрывались пылью и в веселье наших сердец распевали самые веселые песни. Если день бывал замечательно прекрасен, добрый отец наш, настроение души которого имело необыкновенную способность изменяться вместе с погодой, – быстро входил в нашу комнату с своим светлым, добрым, загорелым лицом, и такой день приступом брал от нашей мама.

– Как не стыдно! восклицал он: – как не совестно держать

детей в комнате, в то время, когда все другие юные существа резвятся на воздухе и наслаждаются солнечным светом. Небось, скажете, им нужно учиться грамматике? – вздор! – пустейшая наука, в которой трактуется об употреблении и сочетании слов, – да я не знаю женщины, которая бы не умела справиться с такими пустяками. – География! – хотите ли, я в один зимний вечер, с картой под рукой, чтоб показывать на ней земли, в которых я бывал, выучу вас больше, чем выучит в десять лет эта глупая книга, с такими трудными словами. – Французский язык – дело другое! – его нужно учить; – мне не хочется, чтоб мосьё де-Шалабр подумал, что вы negliжируете уроками, для которых он так много трудится; – ну да и то не беда! вставляйте только раньше – вот и все!

Мы соглашались с ним в восторге. Соглашалась с ним и мама – иногда с улыбкой, иногда с неудовольствием. Эти-то убеждения и доводы давали нам праздники. Впрочем, два раза в году наши французские уроки прекращались недели на две: – раз в январе и раз в октябре. В эти промежутки времени мы даже и не виделись с учителем. Мы несколько раз подходили к окраине нашего поля, пристально всматривались в темную зелень окрестных лесов, и если б только заметили в тени их темную фигуру Мосьё де-Шалабра, я уверена, мы бы побежали к нему, несмотря на запрещение переходить через границу поля. Но мы не видели его.

В ту пору существовало обыкновение не позволять детям знакомиться слишком близко с предметами, имевшими ин-

терес для их родителей. Чтоб скрыть от нас смысл разговора, когда нам случалось находиться при нам, папа и мама употребляли какой-то иероглифический способ выражать свои мысли. Мама в особенности знакома была с этим способом объясняться и находила, как нам казалось, особенное удовольствие ежедневно ставить в-тупик нашего папа изобретением нового знака или нового непонятого выражения. Например, в течение некоторого времени меня звали Марцией, потому что я была не по летам высокого роста; – но только что папа начал постигать это название, – а это было спустя значительное время после того, как я, услышав ими Марции, стала наострять свои уши, – мама вдруг переименовала меня в «подпорку», на том основании, что я усвоила привычку прислонять к стене свою длинную фигуру. Я замечала замешательство отца при этом новом названии, и помогла бы ему выйти из него, но не смела. По этому-то, когда пришла весть о казни Людовика XVI, слишком ужасная, чтоб рассуждать о ней на английском языке, чтоб знали о ней дети, мы довольно долго не могли прибрать ключ к иероглифам, посредством которых велась речь об этом предмете. Мы слышали, о какой-то «Изиде, которая погибла в урагане» и видели на добром лице нашего папа выражение глубокой скорби и спокойную покорность судьбе, – два чувства, всегда согласовавшиеся с чувством тайной печали в душе нашей мама.

В это время уроков у нас не было; и вероятно несчастная, избитая бурей и оборванная Изида сокрушалась об

этом. Прошло несколько недель, прежде, чем мы узнали действительную причину глубокой горести мосьё де-Шалабра, и именно, в то время, когда он снова показался в нашем кругу; мы узнали, почему он так печально покачивал головой, когда наша мама предлагала ему вопросы, и почему он был в глубоком трауре. Мы вполне поняли значение следующего загадочного выражения: «злые и жестокие дети сорвали голову Белой Лилии!» – Мы видели портрет этой Лилии... Это была женщина, с голубыми глазами, с прекрасным выразительным взглядом, с густыми прядями напудренных волос, с белой шеей, украшенной нитками крупного жемчуга. Если б можно было, мы бы расплакались, услышав таинственные слова, значение которых мы постигали. Вечером, ложась спать, мы садились в постель, обняв одна другую, плакали и давали клятву отомстить за смерть этой женщины, лишь бы только Бог продлил нашу жизнь. Кто не помнит этого времени, тот не в состоянии представить ужаса, который, как лихорадочная дрожь, пробежал по всему государству, вместе с молвой об этой страшной казни. Этот неожиданный удар совершенно изменил мосьё де-Шалабро, – после этого событиям я уже более некогда не видала его милым и веселым, каким казался он прежде. После этого события, казалось, что под его улыбками скрывались слезы. Не видев мосьё де-Шалабра целую неделю, наш папа отправился навестить его. Лишь только он вышел из лому, как мама приказала нам прибрать гостиную, и по возможности придать ей

комфортабельный вид. Папа надеялся привести с собой мосьё де-Шалабра, тогда как мосьё де-Шалабр желал более всего быть наедине с самим собою; с своей стороны, мы готовы были перетащить в гостиную свою мебель, лишь бы только усердие наше могло доставить ему комфорт.

Генерал Ашбуртон навестил мосьё де-Шалабра прежде моего отца, и приглашал его к себе, но без всякого успеха. Папа достиг своей цели, как впоследствии узнала я, совершенно неожиданно. Сделав предложение мосьё де-Шадабру, он получил от него такой решительный отказ, что потерял всякую надежду, и уже более не возобновлял своего приглашения. Чтоб облегчить свое сердце, мосьё де-Шалабр начал рассказывать подробности страшного события. Папа слушал, притаив дыхание... наконец, доброе сердце его не выдержало и по лицу его покатались слезы. Его непритворное сочувствие сильно тронуло мосьё де-Шалабра... прошел час, и мы увидели нашего милого учителя на скате зеленого поля. Он склонился на руку папа, который невольно протянул ее, как опору страдальцу, хотя сам хромал и был десятью или пятнадцатью годами старше мосьё де-Шалабра.

В течение года после этого визита, я не видала, чтоб мосьё де-Шадабр носил цветы в петличке своего фрака; даже после того, по самый день смерти, его не пленяли более, ни пышная роза, ни яркая гвоздика. Мы тайком подметили его вкус и всегда старались подносить ему белые цветы для любимого букета. Я заметила также, что на левой руке, под обшлагом

своего фрака (в то время носили чрезвычайно открытые обшлага), он постоянно носил бант из черного крепа. С этим бантом он и умер, дожив до восьмидесяти лет.

Мосьё де-Шалабр был общим фаворитом в лесистом нашем округе. Он был душой дружеских обществ, в которых мы беспрестанно принимали участие, и хотя иные семейства гордились своим аристократическим происхождением и вздергивали нос перед теми, кто занимался торговлей в каких бы то ни было обширных размерах, – мосьё де-Шалабр, по праву своего происхождения, по преданности своей законному государю, и, наконец, по своим благородным, рыцарским поступкам, был всегда почетным гостем. Он переносил свою бедность и простые привычки, которые она вынуждала, так натурально и так весело, как будто это был самый ничтожный случай в его жизни, которого не стоило ни скрывать, ни стыдиться, так что самые слуги, часто позволяющие себе принимать аристократический вид перед учителями, любили и уважали французского джентльмена, который, по утрам являлся в качестве учителя, а вечером – разодетый, с изысканной щеголеватостью, в качестве званого гостя. Походка его была легка. Отправляясь в гости, он перепрыгивал через лужи и грязь, и по приходе в нашу маленькую приемную, вынимал из кармана маленькую, чистенькую коробочку, с маленькой сапожной щеткой и ваксой, и наводил лоск на сапоги, весело разговаривая все это время, ломанным английским языком, с лакеями. Эта коробочка была

собственного его произведения; – на вещи подобного рода, его руки были, как говорится, чисто золотые. С окончанием наших уроков, он вдруг превращался в задушевного домашнего друга, в веселого товарища в игре. Мы жили вдали от столяров и слесарей; но когда у нас портился замок, мосьё де-Шалабр починивал его; когда нам нужен был какой-нибудь ящичек или что-нибудь подобное, мосьё де-Шалабр приносил на другой же день. Он выточил мама мотовило для шелка, отцу шахматы, изящно вырезал футляр для часов из простой кости, сделал премиленькие куклы из пробки, – короче, говоря его словами, он умер бы от скуки без столярных инструментов. Его замысловатые подарки ограничивались не одними нами. Для жены фермера, у которого жил, он сделал множество улучшений и украшений по хозяйственной части. Одно из этих улучшений, которое я припоминаю, состояло в пирожной доске, сделанной по образцу французской, которая не скользила во столу, как английская. Сузанна, румяная дочь фермера, показывала нам рабочую шкатулку; а влюбленный в нее кузен удивительную трость, с необыкновенным набалдашником, представлявшим голову какого-то чудовища, – и все это работы мосьё де-Шалабра. Фермер, жена Фермера, Сузанна и Роберт не могли нахвалиться мосьё де-Шалабром.

Мы росли; из детей сделались девочками, – из девочек – невестами, – а мосьё де-Шалабр продолжал по прежнему давать уроки в нашем лесном округе; по прежнему все его

любили и уважали; – по прежнему не обходились без него ни один обед, ни одна вечеринка. Хорошенькая, веселенькая, шестнадцатилетняя Сузанна уже была покинута неверным Робертом и сделалась миловидною степенною тридцатидвухлетнею девою, но по прежнему прислуживала мосьё де-Шалабру и по прежнему постоянно хвалила его. Бедная наша мама переселилась в вечность; моя сестра была помолвлена за молодого лейтенанта, который находился на своем корабле в Средиземном море. Мой отец по прежнему был молод в душе и во многих привычках; только голова его совершенно побелела, и старинная хромота беспокоила его чаще прежнего. Его дядя оставил ему значительное состояние, по этому, он всей душой предался сельскому хозяйству, и ежегодно бросал на эту прихоть порядочную сумму с душевным наслаждением. Кроткие упреки в глазах нашей мама уже более не страшили его.

В таком положении находились наши дела, когда объявлен был мир 1814 года. До нас доходило такое множество слухов, противоречивших один другому, что мы наконец перестали верить «Военной Газете» и рассуждали однажды довольно горячо о том, до какой степени газетные известия заслуживают вероятия, когда в комнату вошел мосьё де-Шалабр без доклада и в сильном волнении:

– Друзья! воскликнул он: – поздравьте меня! Бурбоны....

Он не в силах был продолжать: черты его лица, даже его пальцы, приходили от радости в движение, но говорить он

не мог. Мой отец поспешил успокоить его.

– Мы слышали приятную новость (видите, девицы, на этот раз газетные известия совершенно справедливы). Поздравляю вас, мой добрый друг. Я рад; душевно рад.

И схватив руку мосьё де-Шалабра, он так крепко сжал ее, что боль, которую испытывал мосьё де-Шалабр, подействовала спасительным образом на его нервное волнение.

– Я еду в Лондон. Я еду немедленно, чтоб увидеть моего государя. Завтра, в отели Грильон, государь принимает всех своих верноподданных: я еду выразить ему свою преданность. Надену гвардейский мундир, который так долго лежал без употребления, – правда, он староват и поизношен, – но ничего! – на него смотрела Мария Антуанета, – а это обстоятельство всегда будет придавать ему новизну.

Мосьё де-Шалабр ходил по комнате быстрыми, нетерпеливыми шагами. Заметно было, что он чем-то был озабочен. Мы сделали знак нашему папа, чтоб он помолчал и дал нашему другу успокоиться.

– Нет! сказал мосьё де-Шалабр, после непродолжительной паузы. – Я не могу проститься с вами навсегда; – для этого, мои неоцененные друзья, я должен воротиться к вам. Я приехал сюда бедным эмигрантом; – великодушные люди приняли меня, как друга, и берегли – как родного. Поместье Шалабр – весьма богатое поместье, и, я надеюсь, мои друзья не забудут меня: они приедут навестить меня в моем отечестве. В воспоминание их дружбы, Шалабр согреет, оденет и

накормит каждого бедняка англичанина, который будет проходить мимо его дверей. Нет! я не прощаюсь с вами. Я уезжаю теперь не больше, как дня на два.

* * *

Мой папа настоял на том, чтоб довести мосьё де-Шалабра в своем кабриолете до ближайшего города, мимо которого проходила почтовая карета. В течение небольшого промежутка времени, пока делались приготовления к отъезду, мосьё де-Шалабр сообщил нам некоторые подробности о своем поместье. До этой поры, он никогда не говорил о нем; мы почти ничего не знали о его положении в своем отечестве. Генерал Ашбуртон встречался с ним в Париже в таком кругу, где о человеке судили по его уму, по светскому образованию и благородству характера, но не по богатству и старинному происхождению. Только теперь мы узнали, что мосьё де-Шалабр владел обширными поместьями в Нормандии, владел замком Шалабр; – правда, все это было конфисковано вследствие его эмиграции, но ведь это случалось в другое время и при других обстоятельствах.

– О! если б жива была ваша мама, – этот неоцененный друг мой, – каких редких и роскошных цветов прислал бы я ей из Шалабра! Когда я смотрел, с какой заботливостью и вниманием ухаживала она за кустом роз самого бедненького сорта, я вспоминал и грустил о моем розовом саде в Шалаб-

ре. А какие у меня оранжереи! Ах, мисс Фанни! – невеста, которая хочет иметь хорошенький веночек на свадьбу, должна непременно приехать за ним в замок Шалабр.

Этими словами мосьё де-Шалабр намекал на помолвку моей сестры – на факт, очень хорошо известный ему, как преданному и верному другу нашего дома.

Папа наш воротился домой в самом веселом расположении духа. В тот же вечер он приступил к составлению плана относительно весенних посевов, чтоб при уборке хлеба выиграть несколько времени на поездку в замок Шалабр; что же касается до нас, то мы были убеждены, что нет никакой необходимости откладывать эту поездку далее осени текущего года.

Дня через два, мосьё де-Шалабр воротился, – немного опечаленный, как нам казалось, но мы не сочли за нужное говорить об этом нашему папа. Как бы то ни было, мосьё де-Шалабр объяснил нам это уныние, сказав, что нашел Лондон, против всякого ожидания, чрезвычайно многолюдным и деятельным; – что после деревни, в которой деревья начинали покрываться зеленью, он показался ему дымным, душным и скучным; и когда мы пристали к нему, чтобы он рассказал о приеме в отели Грильона, он начал смеяться над собой, объяснив, что совершенно забыл давнишнее расположение графа Прованского к тучности, и что он изумился, увидев дородную особу Людовика XVIII, которому стоило большего труда передвигаться с одного места на другое в

приемном зале отеля.

– Но что же он сказал вам? спросила Фанни. – Как он вас принял, когда вы представились?

Чувство досады отразилось на его лице, и тотчас же исчезло.

– Да!.. его величество забыл мое имя. Впрочем, трудно было ожидать, чтоб он его вспомнил, несмотря на то, что наше имя стоит на ряду замечательнейших в Нормандии; – я, конечно.... впрочем, – это ничего не значит. Герцог Дюрас напомнил ему несколько обстоятельств, которые, как я надеялся, навсегда останутся в памяти его величества, – впрочем, и то сказать, продолжительное изгнание заставит забыть многое, – по этому, нет ничего удивительного, что он не мог припомнить меня. Он выразил надежду увидеть меня в Тюльери. Его надежда – для меня закон. Я отправляюсь приготовиться к отъезду. Если его величество не нуждается в моем мече, я обменяю этот меч на плуг и удалюсь в Шалабр. Ах, – мой друг! – я никогда не забуду тех наставлений по части сельского хозяйства, которые заимствовал от вас.

Драгоценный подарок не имел бы в глазах нашего папа такого значения, как эта последняя фраза. Он тотчас же начал осведомляться о качестве грунта и проч. таким серьезным тоном, и с таким вниманием, что мосьё де-Шалабр, сознавая свое невежество по этой части, только слушал его, да пожимал плечами.

– Ничего! – не беспокойтесь! – говорил мой отец. – Рим

ведь не в один день выстроен. Много прошло времени, прежде, чем я узнал все то, что знаю теперь. Я боялся, что нынешней осенью мне нельзя будет тронуться с места; но теперь я вижу, что вы встретите нужду в человеке, который бы посоветовал вам, как должно подготовить землю для весеннего посева.

Таким образом, мосьё де-Шалабр оставил наш округ, с полным убеждением, что в сентябре мы приедем к нему в его нормандский замок. От всех, кто только более или менее был добр к нему, – а к нему все были одинаково добры он взял обещание навестить его в определенные сроки. – Что касается до старого фермера, до бойкой жены его и веселой Сузанны, – их, как мы узнали, мосьё де-Шалабр вызвался перевезти в свои поместья без платы и пошлины, под тем предлогом, что французские коровницы не имеют вы малейшего понятия о чистоте, а тем более не имеют понятия о сельском хозяйстве французские фермеры; – ему решительно необходимо было взять кого-нибудь из Англии, чтоб привести в порядок дела замка Шалабр. Фермер Доброн и его жена не могли не согласиться с столь основательными доводами.

Несколько времени мы не получали от нашего друга никаких известий. Почтовые сношения между Францией и Англией, по случаю возгоревшейся войны, сделались весьма неблагонадежными. По этому, мы принуждены были ждать и старались быть терпеливы мы. Осеннюю поездку во Францию мы отложили. Папа много говорил нам на счет расстро-

енного положения дел во Франции, и сильно журил нас за безрассудное ожидание получить так скоро письмо от мосьё де-Шалабра. Мы, однако ж, знали, что доводы, которые представлял папа в наше утешение, служили собственно к тому, чтоб успокоить его собственное нетерпение, – и что увещания потерпеть немного он делал для того, что считал их необходимыми для своей особы.

Наконец пришло и письмо. В нем проглядывала благородная попытка казаться веселым, но эта веселость вызывала слезы скорее, чем вызывали б их прямые горькие сетования на судьбу. Мосьё де-Шалабр надеялся получить патент на чин подпоручика гвардии, – патент, подписанный самим Людовиком XVI в 1791 году. На полк был переформирован или расформирован – право, не умею сказать; – для утешения нашего, мосьё де-Шалабр уверял нас, что не ему одному отказали в подобном домогательстве. Он пробовал определяться в другие полки, во нигде не было вакансии. «Не славная ли доля для Франции, иметь такое множество храбрых сынов, готовых проливать свою кровь за государя и отечество?» – Фанни отвечала на этот вопрос словами: какая жалость! – а папа, вздохнув несколько раз, утешил себя мыслью, высказанную вслух: тем лучше для мосьё де-Шалабра, ему больше будет времени присмотреть за расстроеным именем.

Наступившая зима была исполнена многих событий в нашем доме. Одно замечательное происшествие сменяло другое, как это часто случается после продолжительного застоя

в домашних делах. Жених Фанни возвратился; они обвенчались, оставив нас одних – отца моего и меня. Корабль её мужа находился в Средиземном море. – Фанни должна была отправиться на Мальту и жить с новыми родными. Не знаю, разлука ли с дочерью так сильно подействовала на весь организм моего отца, или другие причины, только, вскоре после её отъезда, с ним сделался паралич; и потому интереснее всех известий и всех военных реляций были для меня известия и реляции о состоянии больного. Меня не занимали политические события, потрясавшие в то время всю Европу. Мои надежды, мои опасения сосредоточивались на моем милом, неоцененном, любимом нами и любившем нас отце. Я несколько дней сряду держала в кармане письмо мосьё де-Шалабра, не находя времени разобрать его французские иероглифы; наконец, я прочитала его моему бедному отцу, не столько из нетерпения узнать, что заключалось в нем, сколько из повиновения желанию отца. Известия от нашего друга были также печальны, как казалось печальным все другое в эту угрюмую зиму. Какой-то богатый фабрикант купил замок Шалабр, поступивший в число государственных имуществ, вследствие эмиграции владетеля. Этот фабрикант, мосьё де Фэ, принял присягу в верности Людовику XVIII, и купленное имение сделалось его законным достоянием. Мой отец сильно горевал об этой неудаче нашего бедного друга, – горевал, впрочем, только в тот день, когда ему напоминали о ней, а на другой день забывал обо всем. Воз-

вращение Наполеона с острова Эльбы, быстрая последовательность важных событий, Ватерлосская битва, – ничто не занимало бедного отца; для него, в его втором младенчестве, важнее всех событий был пудинг или другое лакомое блюдо.

Однажды, в воскресенье, в августе 1815 года, я отправилась в церковь. Много недель прошло с тех пор, когда я имела возможность отличиться от отца на такое долгое время. В ту минуту, когда я вышла из церкви, мне показалось, как будто юность моя отлетела, пронеслась мимо меня незамеченною, – не оставив по себе ни малейших следов. После обедни, я прошла по высокой траве к той части кладбища, где покоилась наша мама. На её могиле лежала свежая гирлянда из золотистых иммортелей. Это необычайное приношение изумило меня. Я знала, что обыкновение это существует преимущественно у французов. Приподняв гирлянду, я прочитала в ней, по листьям темной зелени, отделявшемся от иммортелей, слово: «Adieu.» В голове моей в тот же момент блеснула мысль, что мосьё де-Шалабр воротился в Англию. Кроме его, ни от кого нельзя было ожидать такого внимания к памяти мама. Но при этом меня удивляла другая мысль, что мы не только не видели его, но ничего о нем не слышали; – ничего не слышали с тех пор, как леди Ашбуртон сообщила нам, что её муж только раз встретил его в Бельгии, и вскоре после того умер от Ватерлосских ран. Припоминая все эти обстоятельства, я незаметным образом очутилась на тропинке, которая пролегалa от нашего дома,

через поле к фермеру Добсону. Я тотчас же решила дойти до него и узнать что-нибудь относительно его прежнего постояльца. Вступив на саиовую дорожку, ведущую к дому, я увидела мосьё де-Шалабра: он задумчиво смотрел из окна той комнаты, которая некогда служила ему кабинетом. Через несколько секунд он выбежал ко мне на встречу. Если моя юность отлетела, то его молодость и зрелые лета совершенно в нем исчезли. В течение нескольких месяцев, с тех пор, как он оставил нас, он постарел, по крайней мере, лет на двадцать. Эту постарелость увеличивала в нем и переменна в платье. Бывало, прежде, он одевался замечательно щеголевато; но теперь в нем проглядывала небрежность, и даже неряшество. Он спросил о моей сестре и об отце таким тоном, который выражал глубокое и почтительное участие, мне показалось, что он спешил заменить один вопрос другим, как будто стараясь предупредить мои вопросы, которые я в свою очередь желала бы сделать.

– Я возвращаюсь сюда к моим обязанностям, к моим единственным обязанностям. Богу не угодно было назначить мне другие, более высшие. С этой поры я становлюсь настоящим учителем французского языка, прилежным, пунктуальным учителем, – ни больше, ни меньше. Я стану учить французскому языку, как должен учить благородный человек и христианин; – буду исполнять мой долг добросовестно. Отныне, грамматика и синтаксис будут моим достоянием, моим девизом.

Он говорил это с благородным смирением, не допуская никаких возражений. Я могла только переменить разговор, убедительно попросив его навестить моего больного отца.

– Навещать больных – это мой долг и мое удовольствие. От общества – я отказываюсь. Это не согласуется теперь с моим положением, к которому я стану применяться по мере сил своих и возможности.

Когда он пришел провести час, другой с моим отцом, он принес с собою небольшую пачку печатных объявлений об условиях, на которых мосьё Шалабр (частичку *де* он отбросил теперь навсегда) желал обучать французскому языку; несколько строк в конце этих объявлений относились прямо к пансионам, к которым он обращался с просьбою оказать ему внимание. Теперь очевидно было, что все надежды бедного мосьё де-Шалабра исчезли навсегда. В прежнее время, он не хотел быть в зависимости от пансионеров; он обучал нас скорее, как аматер, нежели с намерением посвятить свою жизнь этой профессии. Он почтительно попросил меня раздать эти объявления. Я говорю «почтительно» не без основания; это не была та милая услужливость, то предупредительное внимание, которые джентльмен оказывает леди, равной ему по происхождению и состоянию – нет! в этой почтительности была покорная просьба, с которою работник обращается к своему хозяину. Только в комнате моего отца он был прежним мосьё де-Шалабром. Казалось, он понимал, как на-

прасны были бы попытки исчислить и объяснить обстоятельства, которые принудили его занять более низкое положение в обществе. С моим отцом, до самого дня его смерти, мосьё де-Шалабр старался сохранить приятельские отношения; – принимал веселый вид, чего не делал во всяком другом месте, – выслушивал ребяческие рассказы моего отца с истинным и нежным сочувствием, за которое я всегда была признательна ему, хотя в отношении ко мне он продолжал сохранять почтительный вид и почтительный тон, которые служили для меня преградой к выражению чувств благодарности.

Его прежние уроки заслужили такое уважение со стороны тех, которые удостоились чести брать их, что в скором времени он подучил множество приглашений. Пансионы в двух главных городах нашего округа предложили выгодные условия и считали за особенную честь иметь его в числе своих наставников. Мосьё де-Шалабр был занят с утра до-вечера: если бы он движимый чувством благородной гордости, не отказался навсегда от общества, то и тогда он не мог бы уделить ему свободной минуты. Его единственные визиты ограничивались моим отцом, который ждал их с детским нетерпением. Однажды, к моему особенному удивлению, он попросил позволения поговорить со мной на-едине. Несколько минут он стоял перед мной, не сказав ни слова и только повертывая и приглаживая шляпу.

– Вы имеете право на мою откровенность, вы – моя первая ученица. В будущий вторник я женюсь на мисс Сузанне

Добсон – на этой доброй и почтенной девице, счастьем которой я намерен посвятить всю мою жизнь, или, по крайней мере, ту часть моей жизни, которая останется свободною от моих занятий.

Сказав это, он пристально посмотрел на меня, ожидая, быть может, моих поздравлений, но я стояла перед ним пораженная изумлением. Я не могла постичь, каким образом могла пленить его Сузанна, эта бойкая, веселая, красноручая, краснощекая Сузанна, которая в минуты стыдливости становилась красною, как свекла, которая ни слова не знала по-французски, которая считала французов (кроме джентльмена, стоявшего передо мной) за людей, питающихся одними лягушками, – за непримиримых врагов Англии! Впоследствии, я думала, что, быть может, это самое неведение составляло одну из её прелестей. Ни одно слово, ни один намек, ни выразительное молчание, ни взгляды сожаления, не могли напоминать мосьё де-Шалабру горькое минувшее, которое он, очевидно, старался забыть. Не было ни малейшего сомнения, что мосьё де-Шалабр приобретал в Сузанне самую преданную и любящую жену. Она немного боялась его, всегда оказывала ему покорность и почтительность, – а эта дань, я полагаю, должна нравиться всякому мужу. Мадам Шалабр, после своей свадьбы, приняла мой визит с серьезным, несколько грубоватым, но счастливым достоинством, которого я никогда не подозревала в Сузанне Добсон. Они занимали небольшой коттедж у самой опушки леса; при

коттедже находился маленький садик; корова, свиньи и куры бродили в ближайшем кустарнике. Простая деревенская женщина помогала Сузанне присматривать за всем этим хозяйством; – мосьё де-Шалабр посвящал все минуты своего досуга садику и пчелам. Сузанна, с заметной гордостью, водила меня по чистым и уютным комнаткам.

– Это все сделал мусью (так она называла своего мужа). – *Это* все мусью устроил. – Мусью, вероятно, когда то был богатым человеком.

В небольшом кабинете мосьё де-Шалабра висел карандашный рисунок весьма изящной работы. – Он привлек к себе мое внимание, и я остановилась посмотреть его. Он изображал высокое, узкое здание, с четырьмя башенками по углам, на подобие перечницы, и на первом плане какую-то сухую, тяжелую аллею.

– Неужели это замок Шалабр? спросила я.

– Не знаю, – никогда не спрашивала, отвечала m-me Шалабр. – Мусью не нравится, когда его расспрашивают. Эта картинка представляет какое-то место, которое он очень любит, потому что не позволяет стирать пыль с картинки, боясь, что я ее запачкаю.

Женитьба мосьё де-Шалабра не уменьшила числа визитов его моему отцу. До самой смерти батюшки, он постоянно старался доставлять больному развлечения. Но с той минуты, когда он объявил намерение жениться, с минуты его разрыва с отечеством, его беседа перестала дышать чувством

откровенности и дружбы. Несмотря на то, я продолжала навещать его жену. Я не могла забыть юношеских дней, ни прогулок по клеверному полю до опушки леса, ни ежедневных букетов, ни уважения, которое добрая наша мама оказывала эмигранту, на тысячи маленьких услуг, которые он оказывал моей сестре и мне. Он сам хранил эти воспоминания в глубине своего молчаливого сердца. По этому, я всеми силами старалась сделаться подругой его жены, и она научилась смотреть на меня, как на подругу. В комнате больного отца я занималась приготовлением белья для ожидаемого малютки Шалабра, мать которого хотела (так говорила она) просить меня быть приемницей, но её муж довольно сурово напомнил ей, что им следует искать куму между людьми одного с ними положения в обществе. Несмотря на то, в душе, я считала маленькую Сузанну моей крестницей, и дала себе клятву постоянно принимать в ней живое участие. Не прошло двух месяцев после смерти моего отца, как маленькой Сузанне Бог дал маленькую сестрицу, и человеческое сердце в мосьё де-Шалабре поработило его гордость, – новорожденной предназначалось носить имя своей бабушки-француженки, хотя Франция не могла найти места для отца и изгнала его. Эта маленькая дочь была названа Ами.

Когда отец мой умор, Фанни и муж убедительно просили меня оставить Брукфильд и переехать к ним в Валетту. Поместье, по духовному завещанию, было оставлено нам; явился выгодный арендатор; мое здоровье, значительно по-

страдавшее во время продолжительного ухаживанья за больным отцом, поставило меня в необходимость отправиться куда-нибудь в более теплый климат. По этому, я поехала за границу, с намерением пробыть там не более года, но, по какому-то случаю, срок этот продлился до конца моей жизни. Мальта и Генуя сделались моим постоянным местопребыванием. Правда, от времени до времени я приезжала в Англию, но, прожив за границей лет тридцать, Перестала смотреть на нее, как на отчизну. Во время приездов, я видалась с Шалабрами. Мосьё де-Шалабр, больше, чем когда-нибудь, углубился в свое занятие; издал французскую грамматику по какому-то новому плану, и подарил мне экземпляр этого издания. Мадам Шалабр растолстела и благоденствовала; ферма, находившаяся под её управлением, расширилась; а что касается до её двух дочерей, то при английской застенчивости, они имели чрезвычайно много французской живости и остроумия. Я брала их с собой на прогулки и в разговорах с ними старалась привязать их к себе, старалась довести их до того, чтоб дружба наша была действительностью, а не простым, обыкновенным, наследственным чувством; с этой целью я предлагала им множество вопросов об отвлеченных предметах, но маленькие шалуни в свою очередь экзаменовали меня и спрашивали о Франции, которую они считали своим отечеством.

– От кого же вы узнали о французских обычаях и привычках? спросила я. – Верно мосьё де...., верно ваш папа часто

беседует с вами о Франции?

– Не слишком часто, – когда мы бываем одни, – когда у нас нет никого из посторонних, отвечала Сузанна, старшая дочь, серьёзная, с благородным видом девушка, лет двадцати. – Мне мажется, папа потому не говорит о Франции при нашей мама, что боится огорчить ее.

– А мне кажется, сказала Ами: – что он никогда не заговорит о Франции, если может обойтись без этого; – он только тогда Начинает говорить о ней, когда его сердце переполнится воспоминаниями, и то потому, что многие чувства невозможно передать на английском языке.

– Из этого я заключаю, что вы превосходно владеете французским языком.

– О, да! Папа всегда говорит с нами по-французски... это наш родной язык.

Но при всей их преданности к отцу и к отечеству, они были преданными дочерьями своей матери. Они были её подругами, её помощницами в приятных трудах по домашнему хозяйству; – они были практическими, полезными молодыми девицами. Но, оставаясь одни, они посвящали весь свой энтузиазм и всю романтичность природы своему отцу. Они были поверенными душевных движений этого бедного изгнанника и любви его к Франции, жадными слушательницами всего, что он говорил о ранних днях своей жизни. Его слова внушили Сузанне решимость, в случае, если б она освободилась от домашних обязанностей и ответственности, сде-

латься, подобно Анне-Маргерите Шалабр, пратетушки её отца, Сестрой Милосердия и образцом женской непорочности. Что касается до Ами, – то она ни под каким видом не хотела бы оставить своего отца; в этом состояла вся перспектива её будущности.

Года три тому назад, я была в Париже. Одна из моих подруг, проживавшая там, – англичанка по происхождению, жена немецкого ученого, и француженка по манерам, – убедительно упрашивала меня приехать к ней на вечер. Я чувствовала себя не хорошо, и потому имела расположение остаться дома.

– Пожалуйста приезжай! – сказала подруга. Я на это имею свои причины, и причины весьма заманчивые. Быть может, сегодня в моем доме разыграется романическая сцена. Роман в действительности! – Неужели ты не приедешь?

– В чем же дело? – скажи мне прежде, – сказала я, зная привычку моей подруги видеть самые обыкновенные вещи в романическом свете.

– У нас будет молодая леди, – не первой молодости, это правда, но все же молодая и очень хорошенькая; дочь французского эмигранта, которого муж мой знавал в Бельгии, и который с тех пор живет в Англии.

– Извини пожалуйста, – но как ее зовут? прервала я, побуждаемая любопытством.

– Де-Шалабр. Разве ты ее знаешь?

– Да; и принимаю в ней большое участие. Я с удовольстви-

ем приеду повидаться с ней. Давно ли она в Париже? Сузанна это или Ами?

– Нет, предоставь мне удовольствие не рассказывать моего романа. Потерпи немного, и ты получишь ответы на все твои вопросы.

Я откинулась к спинке моего кресла. Некоторые из моих подруг отличались способностью наводить скуку, так что, в ожидании, когда они начнут рассказывать, о чем их просят, непременно нужно было принимать покойное положение.

– За минуту перед этим я сказала тебе, что муж мой познакомился с мосьё де-Шалабром в Бельгии, в 1815 году. С тех пор они вели переписку, не слишком частую, это правда, потому что мосьё де-Шалабр был учителем в Англии, а мой муж профессором в Париже, – но все-таки раза два в год они извещали друг друга, как идут их дела. Со своей стороны, я ни разу не видела мосьё де-Шалабра.

– Я знаю его очень хорошо, сказала я. Я знаю его с самого детства.

– Год тому назад жена мосьё де-Шалабра скончалась (она была тоже англичанка), – скончалась после продолжительной и тяжелой болезни. – Старшая дочь её ухаживала за больной с терпением и нежностью ангела, как говорил отец, и я этому совершенно верю. Но, после кончины матери, ей, как говорится, опостыл свет, она привыкла к полуосвещению, к тихим голосам и к постоянной мысли о том, что при больных должен находиться кто-нибудь безотлучно; громкий говор и

шум здоровых людей раздражал ее. По этому, она стала уговаривать отца дать ей позволение сделаться Сестрой Милосердия. Она говорила, что он, вероятно, с удовольствием отдал бы ее жениху, который бы явился к ним с предложением жениться на ней, и оторвать ее от дома, от отца и сестры; – неужели жь он не согласится разлучиться с ней, когда к этой разлуке ее призывал долг религии? – Он дал ей согласие, и написал к мужу моему письмо, в котором просил принять ее в свой дом, пока она не приищет монастыря, в который пожелает поступить. Вот уж два месяца, как она гостит у нас, и теперь я очарована ею. На будущей неделе она отправится домой, если только....

– Но извини пожалуйста, ведь ты кажется сказала, что она хотела сделаться Сестрой Милосердия?

– Это правда; но она слишком стара, чтоб поступить в этот орден. Ей двадцать восемь лет. Это разочарование, слишком для неё прискорбное, она перенесла терпеливо и кротко, но я вижу, как глубоко она тронута. Теперь приступим к моему роману. Лет десять тому назад мой муж имел ученика, какого-то мосьё дю-Фэ, умного и с обширными познаниями молодого человека, – одного из первоклассных купцов города Руана. Мосьё де-Фэ, приехав недавно в Париж по своим делам, пригласил мужа моего на обед, за которым история Сюжетты Шалабр была рассказана, вероятно, потому, что муж мой осведомлялся, каким бы образом и с кем отправить ее в Англию. История эта заинтересовала де-Фэя; он выпросил

у мужа позволение явиться ко мне вечером, когда Сюзетта будет дома; – и вот, вечер этот назначен сегодня; мосьё дю-Фэ пожалует к нам с своим приятелем, который тоже обедал у него вместе с моим мужем. Неужели ты не приедешь?

Я поехала скорее с надеждой увидеть Сюзанну Шалабр и услышать что-нибудь новое о родине, о месте моей юности, чем выжидать какой-нибудь сантиментальной сцены. Сузанна Шалабр была серьёзная и скромная девица. Она была молчалива и печальна, – так долго лелеемый план её жизни разрушился. Она говорила со мной не много, тихо и дружелюбно отвечая на все мои вопросы; что касается до джентльменов, то её равнодушие и скромность не допускали никакой возможности вступить с ней в разговор, – словом, встреча наша была скучна и неудачна.

– О, мой роман! мои ожидания! Еще раньше половины вечера я готова была бы отдать все мои воздушные замки за десять минут приятного разговора. – Не смейся надо мной: сегодня я не могу переносить твой смех.

Так говорила моя подруга, прощаясь со мной. Я не видала ее два дня. На третий день она приехала ко мне вне себя от радости.

– Наконец, ты можешь поздравить меня. Дело кончилось; хотя и не так романтично, как я ожидала, – но тем лучше.

– Что ты хочешь сказать? сказала я. – Неужели мосьё де-Фе сделал предложение Сузанне?

– О, нет, не он! предложение сделал его друг, мосьё де-

Фрез, то есть не сделал еще и он, а только говорил, и не говорил, пожалуй, но спрашивал мосьё де-Фэ – намерен ли он жениться на Сузетте, и, получив от него отрицательный ответ, мосьё де-Фрез сказал, что приедет к нам и будет просит нашего содействия, чтобы ближе познакомиться с Сузанной, которая очаровала его своей наружностью, своим голосом, своим молчанием, – словом сказать, всем, всем. Мы устроили это так, что он будет её провожатым в Англию, тем более, что ему нужно было ехать туда по своим делам; а что касается до Сюэetty (она об этом еще ровно ничего не знает), она только заботится о том, как бы скорее воротиться домой, – для неё все равно, с кем бы ни ехать, лишь бы мы отпустили. Вдобавок, мосьё де-Фрез живет в пяти шагах от замка Шалабр, следовательно, Сюэetty будет любоваться поместьем своих предков когда ей угодно.

Когда я приехала проститься с Сузанной, она, казалось, ничего не знала и была спокойна, как и всегда. В уме её не было идеи, что в нее может кто-нибудь влюбиться. Она считала мосьё де-Фрез чем-то в роде скучной и неизбежной принадлежности дороги. В моих глазах, он многого не обещал; но все же это был приятный мужчина, и мои друзья отзывались о нем с отличной стороны.

Через три месяца я переехала на зиму в Рим. Через четыре – я услышала о замужестве Сузанны Шалабр. Признаюсь, я никогда не могла понять быстрого перехода от холодного и учтивого равнодушие, с которым Сузанна смотрела на свое-

го спутника, к чувству любви, которое она должна была питать к человеку, прежде, чем могла назвать его мужем. Я написала моему старому учителю французского языка письмо, в котором поздравляла его с замужеством дочери. Прошло еще несколько месяцев, и я получила ответ следующего содержания:

«Милый друг, милая ученица, милое дитя любимых мною родителей. Я теперь уже дряхлый восьмидесяти-летний старик; – я стою на краю могилы. Не могу писать многого; но хочу, чтоб моя рука сообщила вам мое желание увидеться с вами в доме Ами и её мужа. Они просят вас приехать и посмотреть место рождения их старого отца, пока еще он жив и сам может показать вам комнаты. В замке Шалабр я занимаю ту самую комнату, которая была моею в дни моего детства, и в которую каждый вечер приходила моя мать благословить меня. Сузанна живет вблизи нас. Всемогущий Бог благословил моих детей, Бертрана де-Фреза и Альфонса де-Фэ, как он благословлял меня в течение всей моей продолжительной жизни. Я вспоминаю о вашем отце и вашей матери, и, полагаю, вы не рассердитесь, если скажу, что во время обедни всегда прошу нашего священника о поминовении их душ.»

Мое сердце могло объяснить мне вполне содержание этого письма, даже и в таком случае, если б к нему не было приложено хорошенького письмеца Ами и её мужа. Она извещала меня, каким образом мосьё де-Фэ приехал на свадьбу своего друга, увидел младшую сестру Сузанны и в ней увидел

свою невесту. Нежная, любящая Ами скорее могла понравиться ему, чем серьёзная и величественная Сузанна. Маленькая Ани повелительно распоряжалась в замке Шалабр, – чему много способствовало расположение мужа исполнять все её прихоти, – между тем, как Сузанна держала себя серьёзно и, считая повиновение мужу главным условием супружеского счастья, облекала это повиновение во что-то торжественное, великолепное. Впрочем, обе они были добрыми женами, добрыми дочерьми.

Еще прошлым летом вы могли бы видеть старого, очень старого господина, в сереньком пальто, с белыми цветочками в петлице (сорванными хорошеньким внуком); вы бы увидели, с каким удовольствием показывал он пожилой леди сады и окрестности замка Шалабр, переходя с ней от одного места к другому тихими и слабыми шагами.

– Здесь! сказал он мне: – на самом этом месте, я прощался с матерью, в-первые отправляясь в полк. Я нетерпеливо ждал минуты моего отправления, – я сел на коня... отъехал, вон до того большего каштана, и, оглянувшись назад, я увидел печальное лицо матери. Я соскочил с лошади, бросил груму поводья, и побежал назад еще раз обнять мою добрую мать.

– Мой храбрый сын! сказала она: – родной мой, мой ненаглядный! Будь верен Богу и государю!

– С той минуты я не видел ее больше, но я ее скоро увижу; и, кажется, могу сказать, что я был верен и Богу и государю!

И действительно, вскоре после этого он увиделся с ней и,

вероятно, рассказал ей все.